

Лит 293059-1991-230X51-42)-с 11

НА РУИНАХ бышей духовной жизни, среди неоглядного моря опоздавшей литературы чем еще можно развлечь почтенную публику? Только не Достоевским, особенно — академическим. Спокойно и, на первый взгляд, неприметно вышли последние книги тридцатитомника. По сравнению с иными издательскими нозинками их явление не выглядело как событие чрезвычайное.

Достоевский — вкупе с Пушкиным, Гоголем и Толстым — тоже опоздал (ключевое слово: недаром в «Кроткой» оно раздается над трупом бедной самобытности). То есть он, Достоевский, явился как раз вовремя, но мы — народ, нация, государство (а не только интеллигенция, как мнилось, положим, авторам «Вех») — не услышали; не вняли; пренебрегли. Но разве, например, сказки Пушкина — при их всеобщей и ранней укорененности — остерегли нас от благородных поступков или хотя бы в малой мере улучшили нравы?

Приходится с грустью признать, что великое искусство ничего не решает. Последнее слово принадлежит не ему. Красота не спасла мир: ее назначение становится все более гадательным и неопределенным. Но если бесценное наследие не пошло нам впрок, имеет ли смысл вновь обращаться к нему на излете пораженного «глухотой паучьей» времени? Что нам — теперешним — Гекуба?

Заметим, однако, что и Слово, изреченное два тысячелетия назад, еще не исполнено. Что вовсе не помешало его — скажем так — эстетическому торжеству. Обетования являются миру в разных обличьях. В этом смысле культура тоже сакральна: иначе какой резон издавать собрания сочинений...

Тридцатитомник Достоевского (физически — тридцать три книги, считая полутом) не только отразил уровень нашей историко-литературной науки, но и выявил неожиданное упорство нашей общественной гуманитарной традиции (что, может быть, еще важнее). Издание оказалось «культурнее» тех, кто его разрешал: это позволило ему вести разговор с читателем на своем собственном языке. И хотя в редакционном предисловии к первому тому (1972) скороговоркой сообщалось, что «предвидения Достоевского претворила в жизнь Великая Октябрьская социалистическая революция», это ритуальное заклинание (которое в известном смысле трудно оспорить) не получило никакого развития: кесарю было отпущено по минимуму.

Кто же получил по максимуму?

РАССКАЗЫВАЮТ, что некогда нарком просвещения Луначарский спросил одного небогатого интеллигента: «какая надпись на замшелом большевиком памятнике Достоевскому была бы приличной? И получил в ответ: «Ф. М. Достоевскому от благодарных бесов».

Издавая Достоевского, мы изживаем комплекс вины.

Тщательно, дотошно, без гнева и страсти фиксируют комментаторы Полного собрания все колебания общественного климата вокруг Достоевского; они не оставляют неразъясненной ни

одной реалии; они досконально прослеживают неимоверное количество личных, литературных и общественных связей. Они обнаруживают взаимовлияния и улавливают тайные переключки. Вся эта гигантская по объему работа выполнена в высшей степени добросовестно, то есть — профессионально.

Этот спокойный и трезвый профессионализм, это демонстративное отсутствие привычных обвинительных интонаций, эта подчеркнутая объективность — все свидетельствует о том, что в годы, которые не вызывают ныне особых восторгов, были возможны и научная честность, и, повторяю, твердое интеллектуальное упорство. Именно подобные качества позволили готовившей издание Группе Достоевского отклонить соблазнительные (и исходящие сверху) советы — прибегнуть к легкой идейной косметике, разумеется, для

# Что напишем на памятнике

Игорь ВОЛГИН

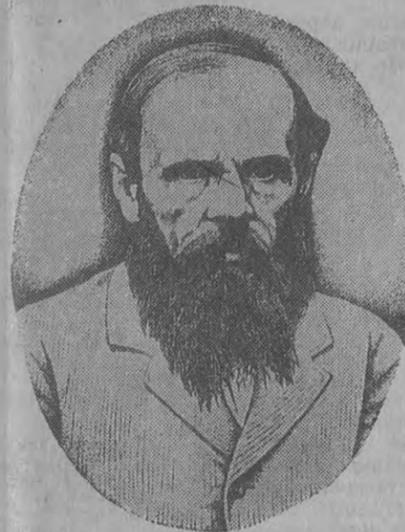
пользы самого автора. Следует оценить и выказанную на высшем партийном уровне государственную тревогу — не повредит ли неурезанное воспроизведение «Дневника писателя» счастливой развязке исторического процесса. Непреклонности Георгия Михайловича Фридендера, руководителя группы, мы обязаны тем, что издание сохранило формулу «полное» и требуемые купюры не прошли.

Конечно, упомянутые трудности несравнимы с последствиями такой замечательной акции, как специальное постановление Совнаркома 1939 г., указующее на немарксистский подход, допущенный издателями отдельных томов Юбилейного полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. Даром, что 90-томный Толстой был подготовлен за какие-то тридцать лет (в среднем 3 тома в год) и по инициативности издания ухитрился обойти Достоевского (в среднем 1,5 тома в год). И если вспомнить, что завершающий том четырехтомника «Писем» Достоевского А. С. Долнина не мог обнародовать ровно четверть века (с 1934-го по 1959-й) и что предпринятое в 1935 году издание «Бесов» («Academia») навски замерло на первом томе, — тогда остается лишь порадоваться за автора.

...Как известно, книги переживают людей. По мере выхода Полного собрания имена трех из пяти членов редакционной коллегии облеклись в траурные рамки. Но тома выходили. Преданность делу приносила свои плоды.

В БЫЛЫЕ годы, когда издание обдували холодные ветры, никто из порядочных людей не мог позволить себе публичных замечаний к столь деликатному делу (чтобы, не дай Бог, не споспешествовать погублению его самого). Теперь же, когда Полное собрание стало явью, оно открыто для научных и иных осмыслений. Его опыт — общезначим и необходим. При этом есть подозрение, что в отличие от нас, всегда признавательных очевидцев, будущие литературоведы не преминут высказать ряд критических недовольств.

АННА Григорьевна Достоевская — в единственном лице — издала первое посмертное собрание сочинений своего мужа менее чем за два года (1882—1883). Институту русской литературы (Пушкинский Дом) понадобилось для той же цели без малого 20 лет. Сопоставление уязвимо. Ибо только сейчас, по прошествии века, мы получили полный свод канонических текстов, черновиков, вариантов и разночтений, снабженных столь мощным академическим комментарием, что в отдельных томах его объем заметно превышает скромную лепту автора. Но не так ли и должно быть подобное издание, как бы ориентирующееся на вечность, по мере протекания которой классик все менее принадлежит самому себе?



Бесполезно было бы объяснять этим потенциальным счастливицам, почему, скажем, наименование Бог или Государь, которые Достоевский, разумеется, не мог писать иначе, как с прописной, утоплены унылой шрифтовой гладью. При чем тут издатель? В наши далекие времена принцип идейных унификаций не подлежал обсуждению. Однако, осведомитесь у нас, какие причины заставили однообразить этот неподражаемый, неправильный, «вкусный» язык — с его уважительным повышением в слове «Начальство» или очаровательным, осязаемо-звучным «цалую»? Таковы принципы новейших публикаций, — строго ответим мы, вовсе не убежденные в правоте такого универсального взгляда.

Трудно будет ответить и на вопрос, почему перевод «Евгении Гранде» — первый сохранившийся литературный опыт Достоевского — не удостоился быть включенным хотя бы в приложение. (Ведь, скажем, «Воздушный корабль» Лермонтова — это тоже «всего-навсего» перевод!)

Не исключено также, что будущего литературоведа смутит и архитонника издания. Он подивится долготерпению нынешних читателей, вынужденных искать по различным томам (3, 5, 9, 12 и т. д.) наброски неосуществленных произведений Достоевского. Куда удобнее было бы обозреть их в единственном томе! Вряд ли танке будет одобрена поведка искусственно отдалять друг от друга тексты и комментарии, когда, прочитав «Подростка» в тринадцатом томе, читатель обнаруживает рукописные редакции романа — в шестнадцатом, а примечания — в семнадцатом (после томов с «Братьями Карамазовыми»).

Кстати, о рукописных редакциях. Пожалуй, будущего оппонента не удивит тот факт, что первые семнадцать томов (художественные произведения) выходили, как правило, тиражом в двести тысяч экземпляров. Натурально, он отнесет это на счет непревзойденного культурного уровня тогдашнего населения, который (уровень), как известно, имеет хроническую тенденцию к росту. Тем более если сравнить: тираж первого тома Юбилейного Толстого («Детство») не превышал

обычно в таких случаях (если какой-то следующий том оказывается готов раньше предыдущего) неготовый том пропускается, но за ним сохраняется его нумерация, как это сделала Анна Григорьевна, завершив собрание 1882—1883 гг. первым томом.

5000 экземпляров (1928), а академический Пушкин («Евгений Онегин») достиг уже 35 000 (год издания 1937-й: долги вечерами было что почитать). Но что безусловно срывает нашего впечатлительного друга, так это тиражи томов Достоевского, включающих отнюдь не только романы, но и варианты и рукописные редакции (200 000! 149 000!). «Какая огромная масса специалистов по Достоевскому существовала в те баснословные времена, — с завистью подумает он, — ибо кому, как не им, потребно такое количество прекрасных составленных книг, предназначенных не для всеобщего удовольствия, а для сравнительно узких научных целей? Мысль о возможности перенести эти тома во вторую издательскую серию, значительно снизив при этом их тираж, скорее всего, не придет нашему благожелателю в голову.

Нет, тому, кто сам не изведал всех тонкостей нашей удивительной жизни, нечего советовать со своим запоздалым советом! Как объяснить ему, отчего на иные (более чем скромные) научные соображения ссылки в комментариях возникают десятки раз, в то время как, скажем, Н. А. Бердяев (мыслитель тоже не из последних!) помянут лишь дважды (правда, если верить «Указателю имен», то — четырьмя, но две из этих ссылок относятся, увы, к однофамильцу). И если русскому философскому реценсану в Полном собрании действительно не повезло (круг блестящих идей и имен, тяготеющих к Достоевскому, представлен довольно скупо), то, может быть, причины этого невезения не всегда зависят от воли издателей...

Нам возражат: а как же, например, такое высочайшего класса издание, как «Мифы народов мира»? Оно выходило в те же самые времена и сумело, несмотря ни на что, поименовать всех. Но мифы — они и есть мифы: как, помнится, говаривал Смердяков, «про неправду все написано».

Сравнительно скудно представлены в Собрании и усилия современной зарубежной достоевистики. Ссылки на американские, французские или немецкие

работы, чей удельный вес в мировой науке о Достоевском весьма значителен, можно перечислить по пальцам. Впрочем, это наш общий порок. Он есть следствием цветущего советскоцентризма, гуманитарной самоизоляции (своего рода научной китайщины), давно преодоленной и немислимой в сфере естественных наук.

Говоря о научной корректности Полного собрания, всякий исследователь отметит, что она почти безупречна: исключения всегда касаются лишь себя самого.

На стр. 139 тридцатого тома (кн. I) опубликовано письмо Достоевского от 15 февраля 1880 года, озаглавленное так: «Неустановленному лицу (слушательнице Высших женских курсов)». Что за таинственная незнакомка? Между тем в нашей книге «Последний год Достоевского» («Советский писатель», М. 1986, с. 104—109) это лицо установлено и названо его полное имя: Александра Николаевна Курицова. Мы привели также значительные отрывки из ее неопубликованного письма, на которое, собственно, и отвечает Достоевский.

И еще раз, превозмогая природную скромность, справедливо заключив, что постскриптум к письму от 25 мая 1880 года на самом деле написан Достоевским днем позже, 26-го, и по сути яв-

ляется совершенно самостоятельным посланием, авторы примечаний забывают указать, что сей любопытный фант впервые установлен на стр. 543 «Последнего года». Можно было бы, пожалуй, предположить, что комментаторы тома, вышедшего в 1988 году, просто не успели учесть новейшие данные. Однако ссылки на «Последний год Достоевского» благородно присутствуют на других страницах того же тома.

Полагая, читатель великодушно простит нам эти примеры, которые свидетельствуют лишь о том, что нет на свете трудов (тем более — Полных собраний), которые, подобно карте звездного неба в «Братьях Карамазовых», не нуждались бы в уточнении.

Это относится даже к самой бесспорной части Собрания — его текстологии.

В опубликованных в 27-м томе черновых записях Достоевского к последнему (1881, январь) «Дневнику писателя» возникает одно загадочное место: «Белинский. Необычная стремительность к восприятию новых идей с необычайным желанием, каждый раз, с восприятием нового распотать все старое, с ненавистью, с оплеванием, с позором. Как бы жажда отмщения старому, и я смею все, чему поклонялся».

К кому относятся эти слова? Разумеется, к Белинскому: ведь Достоевский сам обозначил имя. Но далее в записи следует фраза: «Этого никогда не случалось с Белинским». И утешенные тем, что честь «неистового Виссариона» не пострадала, комментаторы относят желчные слова Достоевского не к нему, а к неким «другим критикам» (т. 30, кн. 1, с. 391).

Между тем то, что нам известно о Белинском, полностью соответствует аттестации, данной ему автором «Дневника».

«Он, — говорит о Белинском Гончаров, — как Дон Жуан к своим красавицам — относился к своим идолам: обольщался, хладил, потом стыдился многих из них и как бы мстил за прежние свои поклонения». «Вообще крайности составляли главную черту его характера, — замечает Некрасов, — как в литературе, так и в жизни. Середины у него не было — и человек или книга, еще сегодня

милые ему, рисковали завтра возбудить его отвращение. Такие перемены совершались в нем всегда резко и круто...»

Сам литературный контекст должен был убедить комментаторов внимательно рассмотреть текст и задаться вопросом: всегда ли две соседние фразы находятся в строгой логической связи? Тем паче — в черновиках. Слова «этого никогда не случалось с Белинским» скорее всего входят в совсем иной смысловой ряд. Потому что с Белинским «это» как раз и случалось.

С Белинским случилось именно то, что в силу прямой генетической преемственности совершается с нами. Ибо неутолимая жажда «распотать» все старое, с ненавистью, с оплеванием, с позором, есть признак инфантильной и идеологизированной культуры (что порою совпадает), которая не доверяет собственному эстетическому началу и требует «дополнительной» санкции — политической, религиозной, моральной. Русская критика любит вести допросы с пристрастием («как поверуешь!»). И запуганный или обольщенный художник спешит подписать заранее заготовленные ею ответы («темное царство», «певец униженных и оскорбленных» и т. д.). Возможно, он надеется этим сохранить себе жизнь.

СМЕШНО писать рецензии на собрания сочинений. Особенно когда сочинения принадлежат Достоевскому. Остается благодарить издателей. Какое, право, значение имеют все наши частные замечания (которые у любого исследователя может набраться сколько угодно) в сравнении с очевидными достоинствами этой многотрудной работы, которая не только вобрала в себя лучшие традиции академической школы, но и динула вперед ее самой? Разве не ясно, что Полное собрание сочинений Достоевского уже стало издательской классикой и, может, примером для подражаний?

Сам творец «Братьев Карамазовых» ставил гораздо больше вопросов, нежели предлагал ответов. И его Собрание, понимаемое как научная реальность, не есть последняя инстанция в споре. Оно тоже содержит открытый финал. С Достоевским (и с наукой о нем), к счастью, не случилось того, что произошло с одним известным поэтом, который, написав ночью прочувствованные стихи о любви, утром удовлетворенно заметил: «Закрыв тему».

Да, тема остается открытой. Это тем более удивительно, что русская классика по всем прикидкам не имела шансов пережить истекающий век. Она могла умереть вместе с гибелью государства. После национальной катастрофы из старой литературы были извлечены «несравненные картины жизни», и саму ее сдали в этнографический музей. Добей ли ее нынешний катаклизм?

Оставим в покое Достоевского. Он сделал, что мог. Не стоит превращать его тексты в Апокалипсис, где тщется отыскать указания на каждую новую злобу дня.

Зачем тогда читать Собрание сочинений?

Толстой говорил об авторе «Карамазовых»: нельзя поставить на памятник, в поучение потомству, человека, который весь борьба. Однако не довольно ли с нас железных кумиров?